

В.Н.ОРЛОВУ

Конец июня —
начало июля 1963 г.

Дорогой Владимир Николаевич, рукопись книги М. Цветаевой мы отправили 19 июня на имя Л.В.Исакович. Простите, что только сейчас пишем Вам — нахлынули всякие дела, кроме того очень устали, дотягивая «концы» книги.

Как Вы увидите (или уже увидели), со многими Вашими предложениями мы согласились, многое убрали и заменили. Однако с некоторыми из высказанных Вами пожеланий согласиться не можем, и вот почему: в этом письме хотели бы изложить Вам наши принципы составления данного сборника в его первой части — разделе «Стихотворения».

Первый и главный принцип — попытка отразить творческий путь поэта, т.е. отбор, с нашей точки зрения, самых ярких и разнообразных по форме и по содержанию произведений, показывающих многогранность таланта. Отсюда — необходимость соблюдения хотя бы некоторого соотношения частей, т.е. не злоупотреблять, к примеру, одной темой в ущерб другой, и т.д. К этому мы еще вернемся.

Второе, не менее важное: мы не сочли необходимым повторить весь состав «Избранного», включив из него лишь самые «красульные» произведения, мы постарались обновить ряд лирических стихотворений, заменив их равнозначными, но малоизвестными или вовсе неизвестными читателю.

Теперь вкратце, в самом основном, по порядку состава сборника.

Мы не сочли возможным разрушить циклы «Стихи о Москве» и «Бессонница», ибо не видим в этом никакой необходимости. В политическом отношении они отнюдь не менее «проходимы», чем стихи Блока и Есенина того же периода.

Далее. Вы предлагаете, сохранив полностью «Стихи к Блоку», свести, по существу, на нет цикл, посвященный Ахматовой. Согласившись с Вами на некоторое сокращение его, мы считаем невозможным дальнейшее урезывание его. Как бы ни были разноречивы и разнозначны Блок и Ахматова, но это были два одинаково крупных события в жизни и в творчестве Цветаевой, и ее стихи, к ним обращенные, — это две вехи в творчестве Цветаевой 1916 года.

По стихам 1917—1921 гг. Зачем увеличивать цикл «Комедиянт» и включать всего «Дон-Жуана», а равные,

если не превосходящие в художественном отношении и близкие по теме циклы «Плещ» и «Любви старинные туманы» снимать? Здесь вопрос только вкуса, а в подобных случаях споры между нами возникать, нам думается, не должны. Зачем давать целиком большой цикл «Стихи к Сонечке», когда в творчестве Цветаевой тема лирической пародии на «жестокую романс» столь мимолетна? Мы дали из этого цикла две трети — вполне достаточно. Нельзя упразднить такие стихотворения, как, скажем, «Белье на речке полощут...» и «Две руки, легко опущенные...», важные в отношении биографическом. Цветаева не должна представлять перед читателем только в качестве поэта любовной лирики — она была матерью троих детей.

Дальше. Вы предлагаете снять чуть ли не подряд несколько превосходных стихотворений 1919—1920 гг., по которым видно, что в творчестве Цветаевой тех лет была сильная лирическая струя и что в эти годы ею был создан не только «Лебединый стан». Не давать этих вещей значит образовать опасную «прореху» в этом периоде и нарушить соотношение частей.

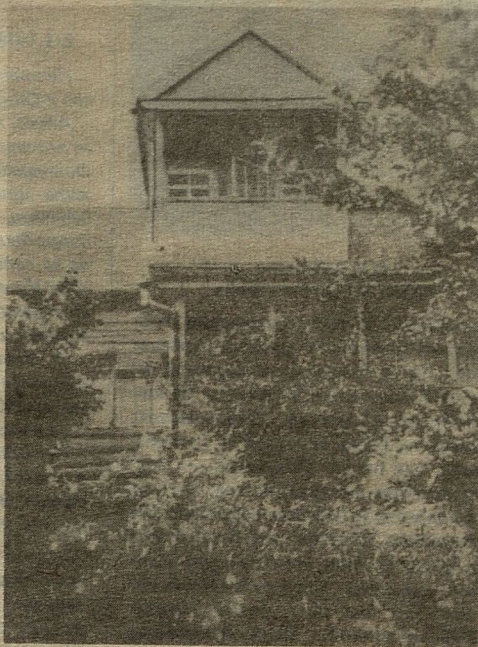
Цикл «Марина» из четырех стихотворений, интереснейший по своему «диалектическому» замыслу, — просто немислим в неполном виде — см. примечания к нему.

О стихах, вошедших в книгу «После России». В своем письме Вы писали о том, что задача нашего сборника — приучить, «приохотить» читателя к Цветаевой. Но это невозможно сде-

Письма разных лет

(К 20-летию со дня кончины)

Ариадна Эфрон



Дом в Тарусе, где с 1958 г. жила А.С.Эфрон.

лать, обходя молчанием творчество 1922-1923 гг. и сведя к минимуму весь огромный поток стихов этих лет. Впервые рассказать о том, как открывая, вольная лирика Цветаевой сразу же после ее отъезда за границу сменилась зашифрованной, законспирированной, «ушла в подполье» из-за полной убежденности поэта в отсутствии на чужбине людей, читателей, страны, — все это, согласитесь сами, необходимо будет сделать во вступительной статье. А когда это будет растолковано, расшифровано, то станет ясно, что никаких формалистических «поисков» в собственном смысле слова и не происходило. Мы с удовольствием поможем Вам обосновать вышеизложенное целым рядом цветаяевских записей и высказываний, нигде не публиковавшихся. Это ли не будет «приучением» к творчеству поэта во всей его глубине и полноте. Итак, мы всячески настаиваем на более широком опубликовании стихов, входящих в сборник «После России» и, особенно на таких шедеврах, «красульных» в творчестве Цветаевой тех лет вещах, как «Час души», «Наклон», «Раковина», «Заочность». (Следуя Вашим пожеланиям, мы убрали целый ряд стихотворений этого периода, как слишком, может быть, для первого раза сложных.)

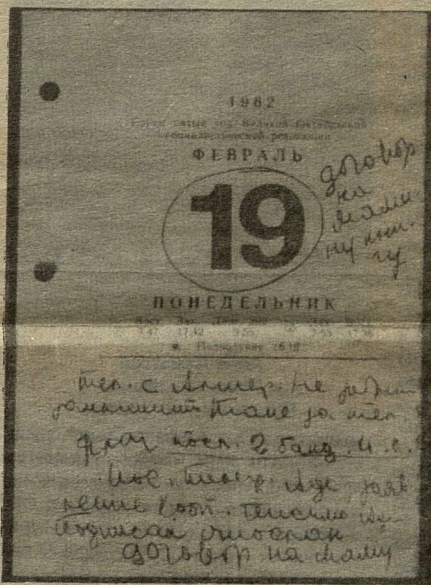
Особый вопрос — это цикл стихов к Маяковскому 1930 г., из которого мы не дали ничего после Ваших настояний и по поводу которого решили еще раз посоветоваться с Вами. Тут есть весьма веское соображение. Не кажется ли Вам, что было бы политически неправомерно — из всего, написанного Цветаевой о Маяковском, дать одно, весьма случайное стихотворение Маяковскому 1921 г. и на нем строить весь комментарий? Нам думается, что следовало бы из цикла 1930 г., являющего собою образец противоречивого и близкого к нашему толкованию Цветаевой Маяковского, — дать стихи, приемлемые для нас (в первую очередь «В сапогах, подкованных железом...»). Предисловие, в котором было бы рассказано об отношении Цветаевой к Маяковскому, сделало бы стихотворение проходным и, главное, книга от этого во многом бы выиграла политически, ибо сохранились поистине «большевистские» высказывания Цветаевой о Маяковском в 30-е годы, которые можно было бы привести и которые просто неудобно «подвешивать» к одному-единственному, весьма упрощенному и далеко не главному обращению к Маяковскому — стихотворению 1921 г.

Кстати: по Москве ходят слухи, что вступительную статью к книге будет писать... Сурков (...)

А.И.ЦВЕТАЕВОЙ

13 июня 1966 г.

Милая Асенька, Ваше письмо, слетавшее в Павлодар за марками, быстро прилетело обратно — наверно и не побывав в Ваших руках, неповинных в почтовых недоразумениях. М(арии) С(тепановне) я напишу, у юриста спрошу, но, конечно, такие наследства нереальны — М.С. живет в доме, теперь принадлежащем С(оюзу) П(исателей), пожизненно, и ничем распорядиться, кроме, естественно, архива, не может; вообще же всё сделано по Максиминой воле и переназначаться не должно. Что до меня, я никогда не хотела бы теперь жить в Коктебеле, настолько мне чужда эта перенаселенность; я в памяти ношу кусочки того Коктебеля моего раннего детства, нынешний мне чужд еще более, чем дом отдыха им. Куйбышева, поглотивший наше «Песочное», нынешние его обитатели — просто



«Договор на мамину книгу...». Листок из настольного календаря Ариадны Эфрон.

посторонние, а нынешние отдыхающие в Максиминой «Атлантиде» претендуют на приверженность, к(отор)ой нет.

Разъяснять такие вещи — трудно при недостатке времени; поверьте на слово.

Относительно Голицынской хозяйки; у меня лежат ее чудовищные воспоминания, ни в чем и ни с чем не совпадающие фактически — ни со временами, ни с людьми; вправе ли она творить легенды? Конечно, как каждый, но не выдавать их за сухую и бывшее.

В воспоминаниях Серафимы Ивановны мама называет Мура «Жорой» (!), дает за табльдотом пощечину своему первому мужу, якобы «не узнавшему» ее (et pour cause!), после чего закатывает истерику, а С.И. отпавляет ее валерианкой; прощается с Крымовым, уходящим на войну в день 22 июня. Мамина запись в тетради: «22 июня война; узнала по радио из открытого окна, когда шла по Покровскому бульвару» — кажется дальше — куда шла? получить гонорар в Гослите; уже давно жила в Москве, в Голицыне никогда не возвращалась. Ни одного слова правды! Но тем не менее, за всеми удивительными смещениями памяти я поняла и почувствовала искренность и взволнованность посмертного отношения к маме, написала С.И. ласково и учтиво; потратила три полных рабочих дня, чтобы по маминим записям, по ее и к ней письмам того времени и по Муриному дневнику, каждый день ведущему, показать ей, где и в чем она ошиблась, где подвела ее и в чем — память; она ведь хотела опубликовать этот бред. Упростила ее публиковать, только уравнив фактическую сторону: нет, не было у мамы первого мужа, кроме папы; нет, не отвечива-

ла она пощечину за табльдотом; нет, не возила она два раза в неделю продуктовых передач в тюрьму — их принимали трижды в месяц и только деньгами; можно было одновременно, или дважды, или трижды — разделив эту сумму. Нет, не ее провожал Крымов на станцию и не с ней он прощался, уходя на фронт, — они были в Голицыне в разные годы: в июне 1941 г. мама с Муром жили в Москве, она переводила Лорку (последняя в жизни ее работа) и в Голицыне ее и ноги не было и т.д. Тут нет никакой моей предвзятости: есть документы того времени — день за днем, шаг за шагом. Я счастлива, что это сохранилось.

Насчет того, что я «чужаюсь» кого-то; это неверно; у меня просто мало времени и мало сил на людей; я живу вообще очень уединенно и стараюсь побольше работать; почти ни с кем не выдаюсь; от встреч и разговоров раскалывается голова, сейчас же подскакивает до последней грани давление; обязанностей у меня невпроворот; мамин издатель, архив, переписка и своя работа — договорная, в сроки к срокам; обязанностей на три жизни, а дана — одна. Что поделаешь? Вся несет бремена свои. «Живое» в других я не отвергаю, и «удивительному» мне ли удивляться? Но вот опровергать и утверждать берусь не тогда, когда «чую», а только, когда достоверно знаю и могу доказать.

Асенька, если Вам обо мне рассказывают вещи, от которых Ваши (милые, седые, переставшие виться) во-

лосы — дыбом встают, не верьте им; это — что-то смешное, как в игре в телефон, или злой вымысел. Если же что-то покажется Вам правдой — всегда можете спросить меня, и я Вам всегда отвечу правду. Асенька, Асенька, люди не так добры зачастую, как кажется; и очень падки на «сенсации»; и по-иному воспитаны, чем были мы. В глаза — одно, за глаза — другое — закон нынешних времен. Мне он надоел. И когда в мое уединение (увы, относительно) пытаются пробиться некие персонажи, пытающиеся мне донести, что якобы Вы говорите обо мне, и как, якобы, дурно Вы ко мне относитесь, я говорю им, что это — Ваше дело, но не третьих лиц, и к интересующей их будто бы Марине отношения не имеет. Бог с ними совсем; это все, правда, неважно, и к тому же мешает жить...

Был ли Мур — по оценкам людей взрослых, умудренных житейским опытом, — «умным, образованным, холодным, надменным эгоистом», судить не берусь. Вообще с годами всё менее способна судить. Судя же по его бедным дневникам — это был самый несчастный, самый одинокий мальчишка на свете, 13-лет вырванный из какой-то среды (обстановки, школы), за два года переживший 8 школ и с десятком пристанищ, увидевший Россию без наших с Вами предисторий, в которые мы успели пустить корни, — а в разгар непостижимо для него террора.

Он с ужасом за папину судьбу вспоминает его кроткие глаза: «где он теперь, что с ним, когда я пишу это?» Он по-ребячески надеется на чудо — мы с папой вернемся! — ведь не может быть, чтобы не вернулись! — Он отчаявается всеми маминими отчаяниями; надеется всеми ее надеждами; вместе с ней цепляется за каждую обламывающуюся ветку; а вместе с тем он ребенок; ему ужасно хочется радости, кино, товарищей-однолеток, даже просто мороженого! — ему, еще не испытывавшему замлетрясений, нужна твердая почва под ногами... Требовал с матери? Несомненно, всё, что требовала она, он исполнял; а он требовал того, что требуется с опорой; иной у него не было; ведь от нее он зависел во всем: она решала...

Вы обвиняете меня в предвзятости к тому или иному; боюсь, что судить ребенка по росту, а не по возрасту — тоже предвзятость: принимать броню (надменность, «холодность») за сущность — тоже предвзятость. Но что поделаешь; у нее — предвзятости — цепкие корни, и вырывает их из почвы сегодняшнего дня только время (...)

Публикация АННЫ СААКЯНЦ

Окончание следует.
Начало в «РМ» №4059.

Цветаева Марина

19.1.95